

«Дания тюрьма»

(с) Гамлет

театр на бумаге

Моему другу Коле (группа «Гафт») и его папе,
который был почти моложе меня.

Интродукция (это монолог; реплики обоих персонажей говорит актриса).

АКТРИСА. ОН. ...мне нравится сложность этих конструкций в силу их дурацкости. Ну, смотри, например, домашний кот. Человек проводит с котом часть своей жизни, а этот кот с человеком — всю жизнь. И поэтому чувства кота важнее, чем чувства человека. Их стоит что ли больше брать в расчёт. Ты уже включила? ОНА. Да, я включила, когда ты стал говорить про кота. ОН. Ну, хорошо, кота потом выкинешь. Начинаем? ОНА. Да. Только мне кажется, это невозможно. То есть... ну, как. Очень трудно начать именно потому что нужно выбрать. О чём говорить, а о чём нет. Тем более, что ты многое из этого и так знаешь, и будет какая-то фальшь, если я начну тебе опять... Но с другой стороны, для пьесы мне б желательно проговорить всё, конечно. ОН. Так, давай начнём с чего-нибудь. ОНА. Хорошо. Хорошо. Скажи, а если я тебе это всё попробую пересказать сейчас как фильм? ОН. Давай так. ОНА. Скажем, мне такое задание дали на каких-то курсах: пересказать фильм максимально подробно. Как по кадрам. Потому что я не могу об этом как о настоящем. А когда рассказывают фильм по заданию, то действие — выполняю задание, а не рассказываю фильм. И это немного уменьшает ответственность. ОН. Давай. Я хочу увидеть фильм. ОНА. Значит, смотри. Не хронологически. Сначала такие плоские камни в подвале дома, в котором находился следственный изолятор. Время действия — семь лет назад. И эти плоские камни покрыты каким-то лаком. Хотя камням не свойственно это. И эта мягкость и жизнь дерева, к которому относится лак, становится на этих камнях какой-то холодной слизью. Так ощущается. То есть кто-то, кто отдал приказ это так красить, сделал настолько плохо, что опрокинул суть вещей. Это место, куда я пришла в первый раз на свидание. Где-то, наверное, через пять дней после того, как всё случилось.

Это здание екатерининского времени. И оно в центре города. Даже рядом с моим факультетом, где я училась. Через сквер. Между ними только публичная библиотека, где я была, кстати, на крыше один раз. И оно с колючей проволокой, такое довольно красивое. И ещё вот этот вот детский импринтинг. Я помню, что спросила когда-то в детстве, проезжая в автобусе мимо: «Что это за дом?». И мама сказала «тюрьма». (Хоть это не тюрьма, это СИЗО.) И я именно так стала представлять тюрьму. То есть тюрьму вообще. Тюрьмы идею. И потом пришло отождествление в очень конкретной точке. То есть когда я пришла туда в первый раз на свидание к папе (он там пробыл два года, пока длилось следствие, а после сидит в М.) — оказалось, что да: для меня это и есть тюрьма. Ты спускаешься в этот подвал... Надо об этом

рассказывать? Я думаю, не надо. Эти интерьеры по фильмам все представляют и так. Так и есть — стекло, такая рабица как на кровати или в открытой шахте лифта. Что ещё о том времени? А, вот кадр: все толпятся у морга, откуда должны вынести её тело. И вот какое-то движение, я обнимаю брата со спины. ОН. Надо сказать, что брата по отцу. ОНА. Да, брата по отцу, да, тело его матери. Он высокий, и я чувствую через спину щекой, как стучит его сердце. Такого не слышала никогда. Я помню, что хотела рассказать это папе на том свидании (у меня на нём тоже, кстати, жутко билось сердце), но после того, как услышала его первый вопрос «Был ли её любовник на похоронах...». Я не знаю, надо ли об этом вот. Важно сделать какой-то отбор фактов. Все эти тонкие вещи уже героям можно отдать. А здесь важно как-то описать эти дикие *обстоятельства* (или как лучше их назвать: эти правила? условия? условия игры?) так, чтоб было понятно, что они абсолютно реальные. Потому что они абсолютно реальные. ОН. Да. ОНА. Но, понимаешь, я не могу подступить. Вообще из этого можно было бы сделать пьесу, про то, как бесконечно пытаешься заставить себя приблизиться к травме. Про то, что травма — это такая корка, которая, наверно, где-то между мирами... Про невозможность. ОН. Да. Но мы не будем. ОНА. Да. Вот. Надо рассказать что предшествовало событиям пьесы непосредственно. Короче: бабушка и внучка приезжают в город М. на долгосрочное свидание... А, знаешь, вспомнила что? Когда мы писали заявление, там было: «такие-то такие-то просят разрешить долгосрочное свидание с отцом и сыном». ОН. Это хорошо. ОНА. Так вот. Они приезжают на свидание с отцом и сыном, сидящим за убийство вот уже семь лет, в маленький город М. И надо обязательно рассказать, как всё устроено. Что огромная такая зона — как градообразующее предприятие, где все так или иначе с ней связаны — но неважно. И ты приезжаешь рано-рано утром, и приходишь в такую синюю комнатку для передач, где всё это... куча народу, окошко, и все приехали к своим отцам и сыновьям. И к мужьям ещё. Но кто-то просто с передачей, а кто-то на свидание. И ты просовываешь тоже своё заявление в окошко и долго-долго-долго ждёшь. А свидание — долгосрочное свидание — это три дня. Они проходят в тюремной гостинице — это так называется. Она прилегает к тюремной стене. То есть одна из её стен — стена тюрьмы. В гостиницу заходят с двух сторон. С воли и с зоны. Из двух дверей, миров et cetera. Причём у родственников всё забирают — телефоны, деньги, колющие режущие предметы — обыскивают. И тебя запирают на трое суток. Это как такое чистилище. Там шесть комнат, шесть номеров. И общая кухня, общий душ, и... Это очень иронично, но так: детская комната. Просто открытая комната без двери, где стоит одна детская кроватка — как клетка за деревянной решёткой, наполненная пыльными игрушками прям как такой уродский автомат, из которого надо вынимать призы такой клешней цыплячей. В эту комнату можно зайти. Там происходит действие пьесы. Там происходит действие пьесы. Там происходит действие пьесы. Хоть мне бы хотелось, чтоб первой ремаркой было «Действие происходит под деревом, где ждали Годо, что бы это ни значило». Так вот: комнат шесть. И все могут общаться — все, кто там. Или правильной — все вынуждены общаться(?). Ну, и вот. И пока героиня с бабушкой ждали пять часов, они познакомились с мамой одного заключённого; ей тоже предстояло жить с ними в этой гостинице. Она была ещё в сто раз более не отсюда, чем я. Она прилетела к нему из Лондона. К сыну. И был ещё отчим. Он тоже прилетел из Лондона. Но его не пустили. Потому что он не кровный родственник. И он дождался, пока жену заведут, и отправился ждать её три дня в обычной гостинице города М. И ещё — они передавали ему книги. Специально заказанные книги с наклейками магазина «Ozon». Пару коробок. В это окошко, куда все просовывают помидоры, растительное масло, сигареты. Так что он, этот сын, через эту маму, через эти книги с героиней как бы заочно познакомились. Его звали Митя.

Вот.

То есть в пьесе его будут звать Митя.

Но не спрашивай у меня, за что он сидит. Там не принято спрашивать.

Но, видимо, за наркотики.

Трое суток это очень много. Ты когда-нибудь проводил с кем-нибудь из родственников трое суток? Хоть его мама очень хорошая. Он, кстати, называет её «маменька». ОН. Я, мне сейчас кажется, вообще ни с кем трое суток подряд не проводил. ОНА. Ну, вот. Так что предлагаемые обстоятельства таковы. Вечерами герои — сначала независимо друг от друга, а потом по сговору, под разными предлогами приходят в эту пустую игровую комнату, чтобы хоть на полчаса, на час перевести дух. Только не думай, что это пьеса о любви. ОН. Что ты! Такого бы я от тебя никогда не ждал. ОНА. И нужно ещё оговорить какие-то вещи. Без которых не очень понятно. Ну, там что у заключённых сейчас у всех почти есть спрятанные телефоны, и на это закрывают глаза. Ну, как — не совсем закрывают, а как инструмент давления — если что отберут. (Но в гостиницу они их, конечно, не носят.) Или там, может быть, что существуют чёрные и красные зоны. ОН. Это как? ОНА. Ну, зоны, где бесчинствует охрана, и зоны, где бесчинствуют блатные. ОН. А почему никто другой в эту комнату не приходит? ОНА. Я не знаю. Остальным как-то нормально было, наверно. А, да. Чуть не забыла. Там будет упоминаться ещё такой *Жека*. Про него много не скажешь — это просто один из заключённых. Заключённый с широкими плечами. Тоже был там — с женой в соседней комнате. Откуда почти не выходил.

Так вот они — одни. Вдвоём. Три вечера.

А потом —

она вышла, а он остался на зоне.

Как и следовало ожидать. И в этом, может, есть метафора того, что она выходит в текст. В этот текст. Как Цинцинат Ц. То есть она выходит, как будто свободная, в ту реальность, где может интерпретировать это всё и представить, и пересоздать как вымысел. Как художественную действительность. Возможно даже *каким-то образом* он приносит себя в жертву этому. Этому побегу. Или — напротив — через неё он совершает побег. Она проносит его образ. И это она приносит себя в жертву... Всё. Всё. Я выключаю диктофон. И дальше — город М.

Исправительная колония номер... номер надо проставить потом. Тюремная гостиница. Детская комната. Действие происходит под деревом, где ждали Годо, что бы это ни значило. Входит Митя».

Первый вечер.

Входит Митя.

МИТЯ. Ой, извините.

АНЯ. Здравствуйте.

МИТЯ. Я помешал?

АНЯ. Не знаю, как ответить, чтобы было хорошо.

МИТЯ. Митя.

АНЯ. Я это даже знаю. Я знакома с вашей мамой. В том смысле, что познакомились за пять часов...

МИТЯ. Маменька мне рассказала. Сказала.

АНЯ. Аня. Интересный эффект от того, что мы оба как бы предуготовлены. Хорошие книги.

МИТЯ. Успели рассмотреть?

АНЯ. А там не квест рассмотреть. Там же пространство такое, и пока принимают... Интересно. Для нас — я имею в виду для родственников — там ведь создаётся такая общность — это некое обязательное преддверие, даже какой-то основной образ тюрьмы и есть комната для передачи передач и бесконечного ожидания — дальше — только воображение. Образ даже не тюрьмы, а — сейчас — образ изменившейся жизни после того, как в жизнь вошла тюрьма. А *вы* — вы в смысле те, кто внутри, изнутри...

МИТЯ. Можно не настолько тщательно подбирать слова — всё нормально.

АНЯ. ...Вы не представляете её никак. Никогда там не были и не будете. Я к тому что... Не знаю к чему.

МИТЯ. Я могу зайти, когда выпустят)

АНЯ. Забудете. Сто процентов забудете. Да и к чему. Выйдете и всё перечеркнёте. По крайней мере, так стоило бы.

МИТЯ. А что вы здесь делаете?

АНЯ. Задаюсь вот как раз этим самым вопросом — не поверите.

МИТЯ. Нет, я имею в виду *здесь*. В этой детской комнате. Хотя игра смыслов ок.

АНЯ. Я пишу письмо. Видимо, современному человеку без средств связи уж чересчур невмочь. (Что в текущих обстоятельствах очень обнажается). Без возможности делиться впечатлениями. С кем-то близким.

МИТЯ. Чего, естественно, нельзя сказать о вашем батюшке(?).

АНЯ. О! То есть вы знакомы с моим отцом?

МИТЯ. ...Извините. Если перегнул. Я одичал. If you know what I mean.

АНЯ. Нет, не волнуйтесь — вы и здесь ещё вполне ужасно петербуржец.

МИТЯ. Бросается?

АНЯ. Бросается.

МИТЯ. Держу марку. Хорошо не знаком. Мы из разных бараков.

АНЯ. «Мы из разных бараков» — звучит как название для чего-нибудь.

МИТЯ. Но я слышал, он прикольный. Даже где-то звезда. Говорят, когда он начинает что-то такое своё с позволения сказать тележить, говорят типа: о, Геннадий опять что-то с земли съел.

АНЯ. Да, это он тоже мне рассказал. Хотя я и не вполне понимаю соль. Но, наверно, это смешно. Не исключаю, что он сам создал о себе эту легенду.

МИТЯ. Я, может, всё же мешаю?

АНЯ. Видите же: я уже всё убрала. Он ещё говорит: недавно перевели в швейный цех — там работа попроще. А в такой ситуации — как это он выразился? — «пацанчики сразу напрягаются»: типа — за какие такие заслуги? Есть такое, да? Но я, кстати, уверена, что папа не стучит — что-что, а это всё же... Просто по возрасту; ну, и за... эксцентричность... Перевели. Так вот, чтоб отпустить напряжённость, он им: пацаны — вы не понимаете — это же план побега. Ты не слышал этой истории? А то, может, слышал, а я...

МИТЯ. Нет. Собираюсь услышать сейчас.

АНЯ. Говорит: когда шьёшь, пацаны, остаются что? Лоскутки. Их не будь дурак аккуратно припрятываешь, и из них можно сшить дельтаплановое крыло. А машинка это что? Что? Моторчик! Достаточно правильно рассчитать траекторию, скорость разбега — говорит — по моим расчётам хватит плаца метров восемьдесят. Разбегаюсь, дескать, *взмываю*... И вот я уже за стеной. Говорит «пацаны смеются».

МИТЯ. Охотно верю. Жаль там у нас там не больше двадцати. Ну, двадцати пяти.

АНЯ. Да? Ах, какой план провален!.. Я, кстати, допускаю, что его здесь по-своему любят... Он же по-своему в общем-то «крутой». И, в целом, всегда так или иначе тянулся к простым людям. (Правда не сильно успешно). Так что... Он говорит: здесь как пионерлагерь. (Может, бабушку утешает). Режим, распорядок дня. Знаешь, вначале... Ой... ничего что?.. Можно «на ты» да?

МИТЯ. Да, пора.

АНЯ. Вначале он мне звонил и — может быть, в силу того, что поговорить нам всегда было особенно не о чем — рассказывал о том, в какой точке Земли сейчас путешественник Фёдор Конюхов; со своей командой. Ничего парадокс? Он созванивался с дедушкой и просил его посмотреть в интернете. А у тех была какая-то кругосветка, и они вели блог. Это главное, что его интересовало. Может, вытеснение. И он пересказывал мне. То есть, понимаешь, я сидя в Питере из тюрьмы получала известия про то, как дела в океане у Фёдора Конюхова. Человека и парохода. А надо сказать, что в ту пору после звонка отца отсюда у меня ещё несколько часов руки ходуном ходили. Тахикардия, экстрасистолы — весь набор. Это сейчас уже как бы норм — привыкла. Ну, почти норм. И вот Фёдор Конюхов — чтоб ему долго и счастливо жилось, конечно.

МИТЯ. Это по-своему даже нормально.

АНЯ. Да неужели!?

МИТЯ. Ну, снимаешь трубку, а он — океан. Океан. Совсем другие запахи и звуки... Динамика вместо статики. Опять же.

АНЯ. Не думайте, пожалуйста, что он обо мне заботился. Он вообще никогда ни о ком не заботился, кроме себя. Штампованная, конечно, получилась фраза, но если б вы знали обстоятельства... Рассказывать всё немислимо, но — вот вам для понимания картины один штрих. Звонит мне недавно, видимо, в нелучшем состоянии и говорит, что его все забыли, живут своей жизнью — и я вот, и все. Говорит: недавно друг звонил — в скобках чуть ли не единственный — позвонил, и даже не спросил, как у меня дела. Рассказывал видите ли, что у него жена от рака умерла. Лучший друг называется. Точка.

МИТЯ. ...Так и сказал «видите ли»?

АНЯ. ...Наверно, нет. Наверно, это я так выразилась. Но сути это не меняет. ...Блин.

Пауза.

...Мы опять перешли «на вы» — заметили?

МИТЯ. Обратно?

АНЯ. Если не противно. Я имею в виду тебе. ...Знаешь, когда мы с бабушкой писали заявление на свиданье — там была такая формулировка что-то вроде «просим разрешить свидание с отцом и сыном». С отцом и сыном. В целом хорошо?
...Как мама?

МИТЯ. Её доводит бессонница из-за часовых поясов. Сейчас приняла снотворное. Так что, надо думать, уже ничего.

АНЯ. А как вообще — если можно спросить — её занесло в Лондон?

МИТЯ. Иняз, переводчик — почему бы и нет. Они поехала, когда я поступил. В какой-то мере, это была программа по вытаскиванию себя из моей жизни — разрывание пуповин, принудительная мудрость.

АНЯ. Чувствует себя виноватой теперь... наверно?

МИТЯ. Ой, это всё...

Вообще — языковые барьеры — очень мудро. Если бы не было языковых барьеров, стопудов началось бы новое переселение народов... Представляешь — исход откуда-нибудь из Норильска в Севилью. Оттуда, где невозможно туда, где хорошо. Понимаешь, это забавно. Когда всё сводится к скованности движений. Невозможности как-то объективировать себя перемещением, сколько-нибудь заметным на гуглмэп. Необходимость проворачиваться с планетой столько-то раз именно вот здесь находясь, непременно вот здесь вот. С точки зрения, допустим, гуглмэп или спутникового снимка тюрьма — это пригвозженность. Не уверен, что возможно такое слово, но захотелось употребить. Искусственно созданные условия невозможности менять пространство. Странненькая, в общем, форма наказания. Если смотреть из космоса, то она сводится к ограничению твоих отношений с Землёй.
Из Норильска в Гранаду — да...

АНЯ. В Севилью.

МИТЯ. Ок. Пришлось бы ой как взвинчивать цены в таких местах, чтобы как-то пресечь... Ни будь барьеров. Возникли бы ох какие скопления. Изобретатель эсперанто в этом смысле... не молодец. Уж слишком как-то вольно. А Бог молодец, что создал Вавилон.

Ну, башенку.

Всех худо-бедно к месту всё же приструнил.

АНЯ. Думаешь, это Бог?)

МИТЯ. Ну, так...

Впрочем, бог надоел. Я иногда представляю как они шли. Я имею в виду предки человека.

Великое освоение планеты. Как сейчас вижу: нижний плейстоцен и плетётся невдалеке от нас такая вереница архантропов...

АНЯ. Ты так подкован?

МИТЯ. Многовато снисхождения.

АНЯ. Извини!

МИТЯ. Ты же видела: магазин «Ozon» поставляет мне сюда новинки нон-фикшена. И я учился в хорошей гимназии. С античным уклоном. Так что некоторые вещи в этом мире я могу называть по-латыни.

АНЯ. Пригождается?

МИТЯ. «Да». Особенно здесь. Вообще... Парадокс в том, что отсюда можно с полным правом представлять что угодно. Как из сумасшедшего дома. Реальность за этими стенами мне всё равно посмотреть не дадут ближайшие четыре года, так что я считаю себя вправе пока моделировать её по своему усмотрению. Может, они (архантропы) как раз сейчас там идут. ... А может, там татаро-монгольское нашествие? — проносятся с гиканьем там на своих конях — как эти кхалы в «Игре престолов»... А эти стены с колючками, этот зиккурат представляются им обломком канувшей цивилизации. Проклятым, конечно же, и потому не стоящим остановки *конского бега*.

Сакральные, в общем, стены, строго говоря.

Вся эта история с прикованностью к месту...

АНЯ. Всё-таки пространство и время очень сплетены, да?

МИТЯ. Конечно! Когда я сижу за стенами, *пригвоз-взж-жженный*, то есть лишённый свободы пространства, у меня недостаточно оснований представлять недоступный мне мир именно вот в формах двадцать первого века, а не с динозаврами или как-нибудь там ещё. Просто недостаточно оснований.

АНЯ. Свобода мысли?)

МИТЯ. По мере сил да.) Практикую. А чем занимаешься ты?

АНЯ. Ну, я связана со словами.

МИТЯ. Наверняка море общих френдов у нас.

АНЯ. А знаешь про карандаши?

Что запрещено передавать цветные карандаши сюда — знаешь? Висит объявление там.

МИТЯ. Не знал.

АНЯ. Мне кажется, я даже читала об этом в какой-то пьесе. Или писала.

МИТЯ. «Связана со словами». Видишь, даже в наших идиомах есть вкус насилия некоего и... плена: «связана». Или там... лестничная, шотландская, грудная клетка. Клетки мозга, клетки кожи... «Мама, мама, я что состою из тюрьмы?».

АНЯ. Знаешь, что позволил себе сказать папа? Когда я спросила днём его о тебе?

МИТЯ. Ты спрашивала обо мне?

АНЯ. Ну, да, ну, сам подумай: как не спрашивать.

МИТЯ. Да. Понимаю. Я бы тоже про тебя спросил. Так что?

АНЯ. Папа ответил, что его, конечно, удивляет, что девушка интересуется таким парнем, как ты, а не таким, как... Жека(?). Жека — правильно? Вот так. Мне кажется, в этом ответе прекрасно всё.

МИТЯ. Мне повезло, что не он на твоём месте. Сказал пошлость?

АНЯ. Мне тоже всю жизнь везёт.

МИТЯ. Да. Жека-Жека. Меня одно время знаешь что волновало? Ну, раньше. Вот зачем — скажем так обтекаемо — употребляют средства изменения сознания очень простые люди?

АНЯ. Боже, Митя!

МИТЯ. Нет, не спеши возмущаться. Я понимаю толерантность, все дела, — я за. Но давай отвлечённо и честно: бухают и употребляют наркотики всякие (скажем в пяти кавычках) художники типа нас...

АНЯ. Я не употребляю.)

МИТЯ. ...и такие ребята... Ну, такие совсем, как Жека. (Каковые, а гророс, и составляют здесь общество. Хотя есть исключения). Обычные люди (кавычки) — практически нет. То есть — подведём черту — выйти за некоторые пределы с помощью некоторых средств стремятся очень усложнённые и очень упрощённые люди. Я сейчас без знаков — безоценочно. Ну, не перебивайте, мисс! — дайте покуражиться на теоретической ниве. Я быстро. Очень быстро. Это почти кирпичи снобизма, который мы — смею предположить — ненавидим, но практикуем. Какие основания теоретические снобизм может предъявить миру... ну, кроме того, что вот я снобизм. Как бы апологетика снобизма. Средства изменения сознания сложный человек, если использует, то для того, чтоб изучать, исследовать свою сложность. Чем более сложный

человек, тем более его сложность будет ветвиться... Безоценочно: я повторяю: безоценочно. То есть сложность будет становиться сложнее, то есть более собой. Окей. Ну, а простота? Вот! Если простота достроит себе ещё один ярус простоты, она ведь станет усложнённой. То есть станет менее, а не более собой. Это как двухэтажный дом, который схлопывается...

АНЯ. Это всё абсолютно ужасно!) Всё, что ты говоришь! А я — слушаю.

МИТЯ. Ужасно. Я не спорю, да, ужасно. Но зато...

АНЯ. Честно?

МИТЯ. Да, честно.

АНЯ. Но темой является как раз то, что...

МИТЯ. Ужасно.

АНЯ. Да.

МИТЯ. Да.

АНЯ. Всё. Всё. Это очень весело, но мне, наверно, пора.

МИТЯ. Не скрою: буду рад, если завтра продолжим.

АНЯ. У нас есть выбор?

МИТЯ. Впрочем, да.

АНЯ. Впрочем, нет.

МИТЯ. Впрочем, нет.

Интермедия.

МИТЯ. Однажды в жизни я был вне тюрьмы. Это было в Выборге. Это был наркотический опыт. Моя инициация и мой финал. На марке был джинн из «Алладина». Потом шли какими-то закоулками, потом. Стало ясно, что вышли из мира. Это было именно пространственное перемещение — как будто нам дали возможность свернуть и найти этот лаз. И там... Это было нечто, похожее на бесконечную секунду перед Апокалипсисом. Но слова-то остались там. Те, которыми я могу описать это. Серое озеро зыбилося как время, осевшая толща времени, а на том берегу сдувало в небытие деревья, и это была музыка. И в воздухе оставался след от каждого движения твёрдой материи. Будто время стало податливой и не так однозначно. Ты мог длиться, не существовать оторванно, а длиться в нём; в нём и в пространстве. Ты мог видеть на несколько секунд вспять, и вперёд мог видеть. И ветер взвивал прошлогодние листья всех веков, и стены в плесени были живой змеиной кожей. И Варя сказала: пойдём. И я спросил: а как здесь сможет пройти тот, кто не знает слова «траектория»? И я спросил: а кто там нас будет ждать? Но понял и сам: мы восходим на холм к Платону. Холм Платона был в лесу, что виднелся в конце дороги. Создания, что попадались по пути, были совсем дантовы, и непонятно было, что

ждать от них. И хлынул дождь, смывая по щекам зелёную тушь с её ресниц и красные нити сосудов. Я решил пошутить, собрал силы и проговорил: «Как вы думаете, коллега, сможем мы сойти для них за тех, кто попал под обыкновенный дождь, а не метафизический?». Но слова были только слова. Мы вышли к лесу, и я узнал, что города больше нет. Что мы в древней части мира, и в каждой из частей мы могли заблудиться навеки. Никакой гарантии, что найдётся путь, всякий раз наугад, а время... время было здесь таким, как есть: чёрной пропастью, чёрной бездной. Прикрытой еловыми лапами. И ужас, который оно порождало, заставил меня произнести много клятв. Я видел, что видел нечеловеческое. Запретное для человека. И я твердил про себя, что если мне позволят вернуться отсюда, *сюда* я не вернусь никогда — клянусь. Хоть тоска, как героям Бажова, и съест мне душу.

Второй вечер.

Входит Аня (или она уже давно здесь).

МИТЯ (*Ане*). Этот лес — это был парк Монрепо. И сейчас его «облагораживают». Вырубают деревья и ставят умильные заборчики. И когда я об этом узнал, мне показалось, в меня стреляли. Мне хотелось кричать: «Дураки! Что вы делаете? Там же холм Платона». Пусть я до него и не смог дойти. Но он там. Вы же всё уничтожите. Вы не ведаете, что творите. И ведь это только один пример, который, в силу обстоятельств жизни, понимаю я. В силу того, что я был *в том месте*. А сколько таких примеров. Примеров того, как своими делишками *здесь* — они загазовывают метафизический мир.

АНЯ. Мне кажется, я пойду.

МИТЯ. Куда?

Нет, это не ирония. Идти некуда, но если тебе нужно побыть одной, я свалю. Почитаю у себя. Что-то случилось?

АНЯ. Так.

МИТЯ. Тебя раздражают мои бредни? Так ведь это от зажима. Я могу и помолчать.

АНЯ. Какая удивительная у нас установилась откровенность!

МИТЯ. Я что-то не так сделал? Послушай! Ну, давай ты скажешь, а? Ну, два вечера — жалко их — очень их жалко.

АНЯ. Ничего.

Просто мы ведём себя так, как будто вообще всё нормально. Как будто мы в клубе где-то, и просто ждём концерт, и просто артист очень сильно запаздывает. Погода нелётная. И надо поболтать пока ждём.

МИТЯ. У меня совершенно нет такого ощущения.

АНЯ. Да? Странно! А чувство, что есть. Чувство, что есть именно такое.

МИТЯ. Что-то случилось?

АНЯ. Я вообще сюда приехала с миссией. Так сказать. Если тебе интересно. Донести до папы простую мысль, что мой брат, которому он умудряется отсюда ещё звонить, и давать какие-то едва ли не советы... Донести до него — и это стало особенно актуально в преддверии возможного УДО — простую мысль, в которую он за семь лет так и не врубился. Что мой брат не будет с ним общаться, когда папа выйдет. Ни мой брат, ни его маленький сын. (Потому что папа планирует выйти, и вести себя так, будто всё хорошо. И всё прошло. Да ничего и не было.) Вообще... «не будет с ним общаться» — это мягкая, серая и безэмоциональная формулировка — а в речи брата фигурировали шаблонные конструкции типа «отрежу ему яйца». И я по телефону слышала... видела, как белеют у него глаза.

На мой взгляд, его можно понять.

Потому что папа

здесь за то,

что убил его мать.

Свою вторую жену.

Двадцать восемь ножевых ранений.

Она хотела от него уйти. Точней, была уже в процессе. Вещи забрала уже. У неё был роман.

Сыну восемнадцать, она почти ещё молода, выглядела отлично. И вот начальник. Красивая новая жизнь. Всё отменно, отменно складывалось. Она всегда хотела красивой жизни. У неё всегда была очень трудная жизнь. Трудная и невзрачная. И с папой.

Всё отменно складывалось. Ей сорок и новые горизонты. Но зачем-то она зашла за чем-то домой. И зачем-то ещё и с букетом — дескать только что подарили. Очень по-бабски. Папа-то никогда не дарил. Напрасно с букетом. Не стоило так делать. Позвонила ему, сказала зайдёт.

Я это так представляю: вся квартира в крови и пошлейшая россыпь роз.

Я представляю, а бабушка с дедушкой это всё отмывали.

Уже после судмедэкспертизы.

Уже когда я уехала.

Мы же в разных городах.

Дедушка говорил: собирал в кухне гроздь застывшей крови сына.

Почему-то он был уверен, что именно сына, а не её. У отца был разбит череп в ходе драки.

В полицию он сам потом позвонил.

В полицию и моему брату.

Сказал ему: «Я её убил».

Был период, когда я рассказывала об этом на каждом первом свидании. Напивалась и рассказывала. Не подумай, что как проверка. Скорей — как предостережение: беги. ...Ты думаешь, бежали? Кажется, я привлекаю людей, в который сильно желание спасать. И после этого оно удесятерилось. Поэтому я перестала.

Ты знал об этом? Ты знал, какая у моего отца статья? Мне известно: у вас не принято спрашивать. Но всё равно все ж знают всё наверняка.

Это всё совершенно неинтересно. Частный случай. Обыкновенное дело из уголовной хроники, заурядный кейс. Ну, разве что что это не в рабочих кварталах, а у обоих высшее образование.

(На папе, как ты мог и сам заметить это отразилось не вполне).

Дело не в этом. Дело не в этом. Не знаю, зачем рассказываю.

Суд шёл два года, и брат был на стороне обвинения (то есть убитой). А бабушка с дедушкой на стороне обвиняемого (то есть отца. Отца и сына).

Они не разговаривали. Они враждовали. Потом уже «всё наладилось» — это безумно звучит. У брата семья, они ходят друг к другу в гости. Два года суда брат был один. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Я что-то пыталась, но я ничего не могла. Они там, я в Петербурге, я

предлагала к нему переехать, но он не хотел. Он менял девушек, пропивал что осталось от мамы. Так было нужно. Он был один.

Меня даже свидетелем не вызывали. Я же от первой жены, из другой семьи.

Понимаешь, это всё... совсем бессмысленно рассказывать. Это довольно кромешно, но что тебе в том.

Сегодня пыталась, пыталась, пыталась как-то ему донести, что... ну можно же попытаться. Дать человеку, которому ты разрушил жизнь, хоть какой-то покой. Хоть какое-то себя ненавязывание. Спойлер: не получилось. Ужасный скандал. Ужасная боль. Бабушка пьет валерьянку (хоть позиция брата для неё уж никак не сюрприз). Я виновата. И даже — я брата настраиваю.

...Хоть какое-то себя ненавязывание.

...Хоть какой-то покой и возможность просто жить.

А не добиваться от него того, чтобы он признал, что она сама виновата. Сама виновата его убитая мать. Потому что папа думает так.

Потому что папа думает так.

Может быть, ведь была драка.

Папа сказал: «Она хотела разрушить семью».

Бабушка сказала: «Она его спровоцировала. Это гены».

И вот это — понимаешь — это, может быть, главное. Это то, что убивает меня, может быть, больше всего.

Это разделение мира на свое и чужое — вот что. Это какая-то доминанта, и это от бабушки, да. Она так не формулирует, но это так. Папа он свой стопроцентно. Потому что с бабушкой она практически одно. Целостность. И папа — их. Не исключено, что это она сделала деда своим, втянула в своё поле в течение жизни. Апроприировала — как сказал бы какой-нибудь хипстер. Другое в нём было попросту постепенно съедено — не исключено. Она так говорила даже на его похоронах: мой человек; мой мужчина. Было дико жалко её, но было не по себе. Всё так и было: для неё он был мой человек. Всё так и есть — что бы это ни значило.

И, конечно, она до сих пор всё держит. И, конечно, в ней столько мощи, столько... какого-то даже... пламени. Даже сейчас. Хватало на всех. Только вырваться было сложно.

Так вот, целостность.

Папа свой стопроцентно и потому

чтоб он ни сделал — его надо защищать. Защищать не по принципу «я от тебя никогда не отрекись, но посмотри, что ты совершил и насколько катастрофичны последствия» (и далее: наверно, я тоже в чём-то виновата, что случилось так), а тотально. Больше, чем тотально.

Перекалывание ответственности. Это как одно известное первое лицо — когда его спрашивают, как же вы так? он сразу: а вы посмотрите что Украина, а вы посмотрите, что Америка — как ведут себя они. Безупречная логика детсадовца. Приснился мне, кстати, сегодня; аж тошнило потом. И не только он это какой-то национальный жаргон стал — катастрофически.

Своё или чужое, чужое или своё.

Во мне и в брате уже 50% чужого. И это ей очень трудно; при том, что она... Это вообще забавный получается, забавный конфликт когда в тебе кровь еврейки и антисемита. Не знаю, как папу угораздило. При том, что ничего такого на себе, ни на маме не замечала. Было втягивание в поле, втягивание в целостность, втягивание в их семью. Наверно им было непросто — *настолько* для них чужеродное втянуть. А надо непременно — потому что у нас же всё самое лучшее. Самая лучшая семья и т.п. Столько лет была самая лучшая. Опять же на бабушкиных похоронах — после похорон она мне сказала. «Достойно посидели. И ни у кого не было никаких бриллиантов, никакого золота — всё очень интеллигентно». Я совершенно не могла понять. Про что этот текст вообще. И тут она продолжила: «а когда на днях рождения твоей той бабушки

собирались — я всегда думала: вот эти врачи, кожа старая, а нацепят на себя золотых цепочек. А у нас всё интеллигентно, скромно». Господи, — думаю я, — это было лет двадцать пять назад. Двадцать пять лет назад, а она помнит; и чувствует важным. И говорит об этом в такой момент. И мне так жалко её становится, и так страшно. И я так вижу, как она всю жизнь, всю жизнь вот как-то так старалась; сопоставляла; отстаивала свой образ жизни, свой способ готовить оливье и мясо по-французски. Как будто — понимаешь — кто-то нападал. Не нападал ведь!

Эта жизнь, основанная на непрерывном тайном сравнении. Не быть, а сопоставлять. Не идти вперёд, а твердить «а зато у нас». Всё вот это «зато достойно». Достойно — ещё слово такое. Какое-то... Вроде не канцелярит, а как канцелярит.

И когда я слушаю свою бабушку... Мне иногда кажется, что моя бабушка — Эсэсэсэр. Прости за эти геополитические аналогии, но не могу ничего поделать — преследуют меня. А её отпрыски — мы — просто горестные последствия. И папа, который полжизни проработал у неё под началом. Хоть подавал такие надежды, что куда там. Особенно по семейной легенде. И брат, который, ну, конечно, бросил универ. После всего этого. И я — ну, обо мне вообще даже нечего говорить. Девяностые, десятые, нулевые. Кладбища несбывшихся надежд. Какие-то тщедушные побегии — хоть семейную хронику пиши. Про печальную деградацию рода. Как мы не можем «великое прошлое» переварить.

Бабушке было от этой семейной драмы, может, трудней всех даже. Помимо, помимо, помимо всего... Представить, что в её семье оказалось такое — кошмарнее, чем во всём окружении.

Убийство. Убийство жены. Суд, позор, знает, кажется, весь город.

Понимаешь, если в Европе война породила экзистенциализм, постмодернизм — что-то новое, что-то, может, насквозь больное, но живое, то у нас...

МИТЯ. Здоровое, но мёртвое.

АНЯ. Да. Да. ...традицию на стяги! Может, от немыслимости жертв, от необходимости выжить. Врубается родовое сознание, как в пещерный век.

Эта жажда целостности. Эта первобытная ксенофобия — когда того, кто из другой стаи надо задушить, чтобы твои гены торжествовали. Эта политика по понятиям: слабому зашквар... Мне, правда, кажется, что это именно первобытное, биологическое, антикультурное, что если человек — это то, что *преодолевают* в себе животное... то это античеловеческое. Потому что... ну нельзя же *так* Другого не любить.

МИТЯ. Так как Путин или так, как твоя бабушка?

АНЯ. Блин, Митя, блин... Я не знаю.

Недавно в Варшаве видела в парке, как утята из двух разных стай друг друга жестоко клюют. Да ты не думай — я её люблю. Боже, да я и папу даже. (Или нет(?)). Просто...

МИТЯ. Просто сложно.

АНЯ. Да. Бабушка рассказывала историю. Историю, очень важную для неё. Со стороны — совершенно почти незначительную, мимолётную. Война, голод, она ничего слаще зелёной алычи не ела. И вот приходит почему-то человек, и даёт почему-то детям яблоки. И дети кинулись, рвутся, голодные все. А она маленькая. И понимает: ни шанса. И тут она смотрит вниз, и видит, как упавшее яблоко катится. А никто не замечает. И подходит, и берёт. Ей, наверно, года три. Это всё. История кончилась. Но она рассказывает её так, что ясно: это сформировало жизнь, судьбу, стратегию, личность на все десятилетия вперёд. И она действительно выжила и многого добилась.

Это багровое яблоко сидит у меня в голове. Человек, который хотел выжить. Человек, который всегда выживал. Который был на это запрограммирован. Включалась древняя биологическая программа. Мир, ставящий человека снова и снова в это первобытное положение. Раз за разом, раз за разом. В XX веке, в XXI веке. Я ехала один раз в плацкарте с женщиной и двумя детьми — они были беженцы с востока Украины. Мальчик был маленький, ещё не говорил, но хорошо шагал по всему вагону, ловя равновесие. И многие руки с боковых и небоковых мест поддерживали его набегу, и все говорили: «Ай, какой мальчик. А какие у него сапожки» — желая сказать приятное. Сапожки были ярко-красные. И маме его это доставляло какое-то страдание — она каждый раз говорила — как будто извиняясь перед всеми — они для девочки, но других пока нет — люди отдали. Было так горько. Обреченность на выживание, далее — обреченность ловчить, думать о куске хлеба, оберегать детей *так*, как будто над ними непрерывно коршун вьётся. До совершеннолетия. И после. Далее — инфантилизм. Инфантилизм этих самых детей. И всё это... я чувствую все эти взаимосвязи. Чувствую их прямоком на себе. И как будто бы кто-то очень даже старается, чтобы эта цепочка не рвалась. Чтобы всё продолжалось, всё было... вот как-то вот так...

Я здесь — просто пример, бабушка — просто пример — понимаешь?

Но сквозь эту призму я смотрю на всё.

Подчиняться инстинктам,
прогрызая себе путь.

Это какая-то, понимаешь, тотальная смерть Достоевского. С его великим «всякий за всякого перед всяким виноват». Неважно, я ль виноват — я должен быть сильным. Сильный всегда отстоит правоту. (Видел бы ты, как они сражались на суде). Сильный всегда заберёт то, что хочет. Будь то полуостров, женщина или что.

Почему, ну скажи, нас всегда так назад отбрасывает? XXI век — где XXI век?

Подчинять или отторгать — не уметь, не хотеть ничего кроме.

Не вглядываться, не пытаться вступить в диалог.

Пестовать своего детёныша *так*, что у него никогда никаких берегов не было.

Что он говорил: «я хочу всего и гораздо больше всех».

Папа всегда хотел, но не мог быть сильным. Но как он хотел, но как он хотел.

Не говорю уж про жизнь моего брата.

Который, кстати, вырос в этой семье, а не как я по выходным, и сам изрядненько традиционалистичен. И это не даёт ему, скажем, уехать, скажем, найти какую-то альтернативную жизненную стратегию, скажем, выстроить перпендикуляр. Отголосок бабушкиного Эсэсэр сидит в нём очень крепенько. Он идёт по тому же пути. На тех же праздниках (первое мая, девятое мая, рождество, 23 февраля) его жена носит в бабушкиной квартире бабушкино оливье и мясо по-французски по той же траектории, по какой носила папина жена. И мне от этого иногда хочется просто...

Он родом из этой целостности, он, — враг отца, — говорит его голосом и его словами. То же пиво, шашлык, экстремальный спорт. Салат оливье и семейные ценности. И у меня стреляет в висках, когда я представляю, *каково* ему внутри всего этого всего этого жертвой быть.

...я же — строила себя принципиально из другого материала — причём с довольно раннего возраста — и в ход шла, как правило, всякая дрянь.

Пауза.

МИТЯ. А мой папа погиб.

Пауза.

АНЯ. ...Я не знала.

МИТЯ. Было бы странно, если бы знала. Хотя... Маменька ведь могла рассказать.

АНЯ. Я бы не стала тогда...

МИТЯ. Да ну что ты. Брось.

АНЯ. Прости.

МИТЯ. Это лишнее.

АНЯ. ...Давно?

МИТЯ. Тысячу лет назад. Мне было двенадцать.

Я помню в книге этой «Толстая тетрадь» была фраза «отцы всегда погибают в несчастных случаях».

АНЯ. Меня очень сильно занесло. Прости.

МИТЯ. Да о чём ты говоришь?

Шёл снег.

Интересно, сколько несчастий в стране совершается из-за погодных условий? Его попросили помочь, и он выехал на своём пирожке. Он мог бы этого не делать. Внезапные заморозки, летняя резина.

Интересно, насколько ниже была б статистика смертей, будь климат помягче? Я помню, в день, когда папа не доехал до дома, я всё пытался ему позвонить, а там было «абонент недоступен». С тех пор мне бывает иногда не очень хорошо, когда абонент недоступен. На следующий день, когда уже все было понятно, я помню, я отправил ему смску «папа ты скоро придешь?» с каким-то грустным смайликом, весьма дурацким. Вообще... Мне кажется, беда человечества в том, что Евразия в своё время не раскололась. Слишком, слишком большой материк.

АНЯ. Слишком много людей живёт слишком далеко от моря.

МИТЯ. Это точно. Вот взять хотя бы меня)

Мне везёт: я, как правило, успеваю поговорить с людьми перед их смертью. Вот с нашим барабанщиком, который умер. И с папой мы как раз вечером накануне поговорили. Он зашёл ко мне перед сном. Про российское кино. Он говорил, что хотел бы и верить, что оно когда-нибудь будет хорошее.

АНЯ. Ну, это даже может быть.

МИТЯ. А Лондон маменькин...

Ну, он в какой-то мере из-за папы. Как люди не могут жить в квартире после... В её случае это оказалось со страной.

АНЯ. Странно я всё-таки думаю: почему — принципиально, тотально, фатально невозможно говорить так легко с родственниками, да? Ну, мои понятно, а у тебя мама — иняз... То же самое?

МИТЯ. Ну, конечно. Наверно, эти конвенции...

АНЯ. Что как бы нужно обязательно «о важном»?

МИТЯ. Да.

А это всё убивает.

Если невозможно просто пополоскать языком, это уже не отношения, а мука. Вот с отцом было можно... А с другой стороны...

Да.

Хотя маменька — молодец — она иногда разрешает мне молчать. Иногда она не против. Хотя всё равно всё время ждёшь подвоха. И ещё постоянно чувствуешь, что она — хочет что-то спросить и собирается с силами. Это напряжение... или что там — сопротивление.

Nomen. Sermo. Aestus. Aevum. Aurum. Oriens.

Ма-ам!

Malum. Scelus. Luctum. Luctus. Maeror. Odium.

Мама!

Carmen. Meturs. Merum. Mustum. Reditus. Requies.

Ма-ам! Ну! Что ты хочешь спросить — я же чувствую.

Мам, ну что?

«Хотела спросить, как там Варя»?

Конечно!

Как будто она сама не может в любой момент у себя там на воле

Варе написать и спросить, как она?

Впрочем, естественно, я понимаю, что вопрос не в этом!..

АНЯ. Варя?

МИТЯ. Lumen. Flamen. Caelum. Deus. Venia. Otium... Моя девушка.

АНЯ. Ждёт?

МИТЯ. Да... ну, как ждёт... Мне повезло: мы с самого начала как-то так с ней условились о свободных отношениях. То есть что это значит? Она лежит с кем-то и пишет мне смски о тщете и тлене. И, дескать, какая разница кто с кем — разве наша любовь не выше... Так что... Духовные основания нашей любви моим нынешним положением поколеблены не были. Мне повезло.

АНЯ. Но она не приезжает?

МИТЯ. Нет.

Нет.

Нет.

...А маменька хорошая. Она папу очень любила. И эта история с отчимом в её жизни — это — ты знаешь — больше для меня.

АНЯ. Ты говорил уже.

МИТЯ. Да.

Она призналась мне, что какое-то время, ещё из Лондона хотела нанять где-нибудь девушку, которая придет ко мне сюда под видом невесты... Но, думаю, после ситуации с отчимом она поняла, что всё не так просто. В техническом отношении.

...Я вот сейчас всё это говорю — про отца, про маменьку, про Варю — и мне становится всё более и более стрёмно. Потому что в этом во всём есть такое, что я как будто рисуюсь (устаревшее слово, но лучше не подбирать). Или на жалось давлю, или... не знаю. Ты можешь что-то такое подумать. Даже я сам всё больше начинаю думать: не так ли это? Дескать, вон какой умненький тонкий мальчик в таких обстоятельствах... То есть какой-нибудь Жека на моём месте мускулами бы поиграл, чтобы произвести впечатление или под юбку бы залез, а я гранями мерцаю. То есть... говорю тебе какие-то сокровенные вещи, и начинаю проверять себя уже — не для *того ли* говорю? Хотя... ну ведь не для того же! Фак, это немного штопор.

АНЯ. Забей, пожалуйста.

МИТЯ. Просто сложно.

АНЯ. Просто сложно.

МИТЯ. Да.

Ты не находишь гипермегастранным и тошнотворно литературным, даже я сказал бы беллетристическим то, что мы тут. То что разговор нельзя закончить. То что нельзя снять друг с друга трусы. И что никто не помрёт от любви. И что я трушу потерять собеседника. И что мы то и дело слышим как кончает Жека слева за соседней стеной. А за соседней справа стеной, как Полоний за ковром, — твой папа. Может, даже слышно ему кое-что. И что у нас с тобой совпадение дискурсов — лингвистическая удача так сказать. И что пройдёт ещё хуй знает сколько времени прежде чем я смогу с кем-то — я не говорю так, но хотя б на 20% так поговорить. Хотя ничего экстраординарного, конечно, не сказано. Пустой экзистенциальный трёп, театр на бумаге. Но, с другой стороны, пройдёт ещё опять же хуй знает сколько времени, прежде чем я смогу с кем-нибудь потрахаться. И об этом я тоже не могу, к сожалению, не думать.

АНЯ. ...Мне кажется, вот всё последнее — это был озвученный внутренний монолог. Просто по жанру. Внутренний монолог.

МИТЯ. Да, это был внутренний монолог.

АНЯ. Да, внутренний монолог.

Внутренний монолог Мити — так и напишем. Так его и надо будет играть. У меня есть любимый человек.

МИТЯ. Хорошо.

АНЯ. Я долго была одна, отживала болезненные отношения, а теперь...

МИТЯ. Хорошо.

АНЯ. Я писала здесь в прошлый раз тоже письма — представляешь: они потерялись.

МИТЯ. Ого.

АНЯ. Переезды, бездомность, общая безалаберность. Я приехала, ему отдала. Но потом — потерялись.

МИТЯ. Про что твои письма?

АНЯ. Знаешь, а я забыла. Поняла, что забыла в какой-то момент. Это тоже в каком-то смысле неудавшаяся контрабанда. Отсюда. Из здешнего состояния. Как-то я подумала про них, захотела прочитать, и мы искали. И спросила у него: ну про что там было хотя бы. И он говорит, что они в основном — про вину — про вину перед бабушкой за то, что я соержу в себе всё, что она ненавидит. Для неё ведь слово современный — ругательство. А для меня — искомый идеал. Вот это всё, вот это всё, вот это всё. Она никогда не признает, но это так. И это приносит ей дополнительную боль (она же меня любит), хотя боли ей и без того хватает. Ужасно, ужасно ей трудно чужое любить. Всё это ужасно, но сделать-то ничего нельзя.

МИТЯ. Я выписал себе и выучил. Пастернак писал Цветаевой: «При вашей исключительной подлинности — мне с вами переписываться не легче, чем с самим собой». Это я не к письмам твоим.

АНЯ. Я поняла.

МИТЯ. Это я про другое.

АНЯ. Я поняла.

Я поняла.

Знаешь...

в моей жизни никогда не было чтобы...

В общем, если я решаю, что да вот с этим человеком — я всегда напиваюсь и тогда делаю какой-то первый шаг или просто перестаю всем своим видом отпугивать.

Я даже не представляю, как эти вопросы плоти решают люди, которые не пьют.

Это же так страшно вообще-то...

Митя.

Боже, не смотри так на меня. Послушай.

МИТЯ. У меня сейчас такое нехорошее горькое чувство, как будто я тебя — да — разжалобил.

АНЯ. Послушай, ну, пожалуйста. Не усложняй. И так всё дико сложно — честно. Просто пойдн к себе и принеси... я не знаю — одеяло. И простыню проём завесить.

Пожалуйста, не смотри.

Это будет некрасивый момент, некрасивое начало, но мы с тобой стиснем зубы и его проживём.

Нам просто будет сложно, но потом всё будет хорошо.

МИТЯ. Это был не внутренний монолог?

АНЯ. Не внутренний.

МИТЯ. То есть я это слышал?

АНЯ. Да.

Я-сама-не-верю-что-я-это-говорю-я-уже-прокрутила-в-голове-эти-слова-раз-двадцать. И надо их произнести, потому что иначе ещё стыдней. Ещё более стыдно. Это был бы такой не-поступок, что просто пиздец.

Подходит и целует её в щёку с благодарностью. Идёт.

АНЯ. Митя!

О маме своей не беспокойся. Она будет только рада.

Его движение к ней.

АНЯ. Не надо! Сейчас, пожалуйста, походи и сделай и принеси, и... И подумай, чем закрепить простыню. А, здесь гвоздь с одной стороны. Это хорошо. А то ни колющих, ни режущих предметов. Совершенно нечем закрепить простыню.

Интермедия.

АНЯ. Однажды в жизни я была не в тюрьме. Это было в Венеции. Тогда было главное чувство, что мне это пока не по зубам. Я, несмотря на все мечты не ожидала — что она — просто и есть красота. Которая несёт, чтоб быть собой, в себе свою противоположность. Гниение и тлен. Гниение и тлен.

Я смотрела на эти храмы, и обрастало мясом чувство, что они — вросшие в землю тела космических кораблей. (Или баснословные для них ангары). Иначе не может, не может, не может, не может быть. Может, тогда их создателям недоставало начинки — какой-то детали для взлёта, может быть — прорыва в неведомое — может быть. Они построили эту обшивку. И где-то внутри её тайный прихотливый механизм. В дар будущему. Чтоб кто-то вырвался. Но всё потекло не туда. И земля и вода только крепче держали фундамент. И никто не спустился в подвал со свечой, не вложил нужный атом как жемчужину в устрицу, как пилюлю на язык.

И никто не сумел, не покинул, не превозмог.

Венецианский космизм.

Это была антитюрьма как таковая.

Я сидела на внешнем подоконнике, прямо над каналом, под дождём, плыли внизу эти хрестоматийные создания на вёслах. Комната в хостеле на восемь человек, но никого, и часы на Сан Марко били. Распластанное тело Гипериона. Со вскрытыми венами; зеленоватая кровь. И оно так уязвимо! Ужасно больно было бы давать чужакам смотреть на свой город, если б свой город был таким. Это как секс со вскрытием какой-то. Познание, познание, познание нутра. И было хорошо, что там в дежурных разговорах можно отделяться лакированными nice, wonderfull (et cetera), стёртыми в блестящую пыль еще на школьных скамьях всех кабинетов иностранных языков мира. И ничего не выражать. — Как был твой день? — Я провела его на кладбище. — Was it nice?

Непозволительно много жалости, злости и любви.

Неверие что всё это — земное.

Архитектура — самое заюзанное обывателем из искусств — здесь стоит стеной, берет реванш, глумится, мстит, ликует. Потому что — ну, правда, — не бальзамируется в мумию, как в других городах, а парадно истлевает. И предъявляет свои трупные пятна как лучшие и бесспорнейшие из шедевров. Как эталон цветов, эталон форм. И ведь не поспоришь. Хоть и чувство, что жители спорят до сипа. Со своим разноцветным бельём, экспонируемым из окон — чтобы

кричать: здесь не смерть, здесь жизнь. И со всей этой крикливой пестротой, что заполняет нижний ярус. Там манекены, а здесь — статуи, которым хаос уже доглядывает голени и бёдра. И жадной трещиной тянется к груди.

Последний вечер.

МИТЯ. Можно?
Можно голову к вам на колени?
Можно к тебе?

АНЯ. Да, конечно.

МИТЯ. Завтра утром всё.
После свиданий все говорят, что некоторое время тоска.
Наверно.
Мне, наверно, уж точно гарантирована.
«Наверно» — лишнее.
Как ты?

АНЯ. Ты жалеешь?

МИТЯ. Нет! Что ты. Нет. Я хотел спросить тебя...

АНЯ. Да.
Ну, спрашивай, пожалуйста, — я постараюсь ответить.

МИТЯ. Ты же ведь меня не хотела.

АНЯ. Не хотела.
Но я.
Хотела-тебе-помочь.

МИТЯ. Спасибо.

АНЯ. Ты с иронией это сейчас?

МИТЯ. Нет! Нет! Что ты. Нет.

АНЯ. Спасибо. Просто. Думала с какого-то момента: ну, вот очевидно же, что вот я сейчас
могу
помочь.
Помочь человеку, которому хочу помочь. Это не так часто, в конце концов, случается. Это — ты ж сам говоришь — как с тем котом, чувства которого — важнее.

МИТЯ. Разве? Я говорил про кота?

АНЯ. Про кота. Что человек живёт с котом только часть жизни. А кот — всю жизнь. И сделанное для него...

МИТЯ. Кот — это я?

АНЯ. Прости. Я не то... Просто помочь человеку, который мне стал дорог.

МИТЯ. Хоть ты его и не хочешь.

АНЯ. Допустим, да. Моё сознание это понимает. Моё сознание понимает, что ему, сознанию, надо на время отдать тело. Произнести что-то такое, найти какие-то себе слова, чтобы можно было перешагнуть через какой-то барьер, через барьеры барьеров. И сделать что-то реально... сделать. Я, наверно, напрасно это говорю? Просто расстёгиванием каких-то пуговиц, каких-то крючков на лифчике совершить хороший поступок.

МИТЯ. Я понимаю тебя. Спасибо.

АНЯ. Потому что я ни хуя не делаю в жизни хороших поступков. Как и большинство, кстати. Просто, преодолев неловкость, принести добро.

МИТЯ. Спасибо.

АНЯ. Трудно. Трудно ухватить это. То есть то, что, может, у кого-то было бы каким-то естественным, животным (не в плохом смысле), а, вот же слово — инстинктивным! То, что у кого-то было бы инстинктивным: мужчина и женщина — самка, самец — порыв — всё. Здесь, в нашем случае — осознанное и человеческое в двойном каком-то смысле. Потому что над условностями.

МИТЯ. А там — под условностями?

АНЯ. Ну, да. В каком-то смысле, да. Может быть, вопрос всегда как раз в том, по какую сторону от условностей ты совершаешь почти одни и те же поступки. По ту или по эту. Ужасно стыдно.

МИТЯ. Просто сложно.

АНЯ. Просто сложно. Стыдно, пожалуй за то, что, кроме сложности, ничего и нет. Ничего и нет, может быть. Ну, ещё стыд за неё. А так... ни храбрости, ни воли.

МИТЯ. Вчера ты была очень храброй.

АНЯ. Да я не про то. Может показаться, что я оправдываюсь. Вообще скатились куда-то... А как всё начиналось. Что называется.

МИТЯ. Отвратительный снобизм.)

АНЯ. Я просто пытаюсь сформулировать.

МИТЯ. Ты очень красивая.

АНЯ. Это по итогам вчерашнего?

МИТЯ. По совокупности дней.

АНЯ. Обыкновенная, на самом деле.

МИТЯ. Нет.

АНЯ. Просто тело. Имеющее такую конфигурацию, которую мужчина может хотеть теоретически.

МИТЯ. Ну нет...

АНЯ. ...Или практически. Это какие-нибудь там гепарды красивы с ног до головы. А человек... Ну, просто взаимовозбуждающ внутри своего вида. А так...

МИТЯ. Сказано тем, кто имеет отношение к словам!

АНЯ. Ну, да.

Ну, да.

Чем ближе ты к словам, тем труднее с ними.

Как мама? Я уже спрашивала.

МИТЯ. Ну, понимаешь, Лондон. Для неё вот это всё... Я даже не знаю, от чего ей хуже: от того что оно физически на неё саму воздействует, и ей тяжело три дня в таких условиях, или от того, что она как бы визуализировала, как и где *живу* я. Это с поправкой на то, что гостиница для нас — санаторий. Иногда лучше не визуализировать of course.

АНЯ. У Бродского есть в одном эссе — я не помню дословно, но что-то про то, что через весь Эссэсэр — через все официальные учреждения от вытрезвителей до детских садов — протянулась эта черта — крашеная в грязно-зелёный масляный нижняя часть стены и белёная верхняя, и линия между ними. Черта. Как пародия на линию горизонта.

Что мы и имеем возможность здесь наблюдать по сей день.

Что, может быть, ещё похуже, чем душевой слив, забитый волосами.

Но мама...

Она не осуждает меня?

МИТЯ. Нет! Нет.

АНЯ. Когда нас досматривали и мы входили сюда, мне показалось, что она смотрит на меня с какой-то... почти просьбой что ли. Или надеждой. Она у тебя молодец.

Но ты не подумай — я не из-за этого. Совсем. Это меня даже скорей рассердило. Забудь! Забудь, пожалуйста.

МИТЯ. Ок. Ок. Не проблема. Но я должен сказать тебе... Кто-то выходил в туалет, свет включали. Здесь ... ты сама говоришь «пионерлагерь». Здесь такие вещи не скрыть.

АНЯ. Это папа мой говорит «пионерлагерь». Ты думаешь, меня волнует моя репутация на территории пе-ни-тен-циарных учреждений? «Будь ты чиста как снег — всё равно не уйдёшь от клеветы». А я не чиста как снег. Но тебе не будет от этого плохо?

МИТЯ. Нет! Что ты. Наоборот! То есть... Блин. Прости. Последнее, что я хотел бы — это зарабатывать очки на... Но, конечно...

АНЯ. ...конечно, всё же будет положительный побочный эффект?

МИТЯ. Да.

АНЯ. Уважение? Что ты трахнул...

МИТЯ. Да.

АНЯ. Гм. Ну, ладно, хорошо.
Я рада.
М-да...

МИТЯ. И ещё...

АНЯ. Что «ещё»??

МИТЯ. Они будут знать, что дочку... то есть что это было с дочкой твоего папы.

АНЯ. Так... а ему будет от этого плохо?

МИТЯ. Нет. Ничего такого страшного — не переживай! Ничего такого. Просто какие-то могут быть взгляды и...

АНЯ. Что «и». Митя, пожалуйста, это важно. Я не хочу сделать хуже.

МИТЯ. Ничего такого страшного! Просто может возникнуть... не исключено, что возникнет такое — скажем так — общественное мнение...

АНЯ. Что его дочь — блядь?

МИТЯ. Да.

АНЯ. Что за амбивалентный мир!

МИТЯ. Можно я обниму тебя.

*Знак что да.
Обнимает.*

АНЯ. ...А то что не хотела — не переживай. У меня перверсия или что-то вроде: хочу только если люблю. (Ужасно, кстати, неудобная для жизни штука). Так что... Но я правда не сделала тебе хуже? Ты же не влюбишься в меня?

МИТЯ. Нет!!

АНЯ. Не считаешь, что ответил слишком поспешно?) Для моего самолюбия?

МИТЯ. Согласен: поправка: *думаю*, нет. Блин. Мы сейчас как будто голые.

АНЯ. Да пиздец!! ... Митя!

МИТЯ. Нельзя обнимать?

АНЯ. Пожалуйста, нам надо или как-то вырлиться на нейтральную тему, или разойтись, потому что... Так невозможно, конечно.

МИТЯ. Да, невозможно. И очень, действительно, глупо. Но можно последний дурацкий вопрос? Уф-ф! Тебе-было-хорошо?

АНЯ. Ф-ф-ф... Да.

МИТЯ. ...Правда?

АНЯ. Да. Ты считаешь, что это нейтральная тема?

МИТЯ. Нет, конечно, но просто... Я прекрасно знаю, что глупо. Тем более, что это спрашивают, кажется, все люди мира.

АНЯ. Вот уж не думаю!

МИТЯ. Но... Извини.

АНЯ. Ты извини. Просто, действительно, очень глупо же, что мы так застряли и не можем теперь нормально говорить. И вообще...

МИТЯ. Глупо. Но а как же это? «Встречаться надо для любви — для остального есть книги»?

АНЯ. Ты серьёзно??

МИТЯ. Как дети.

АНЯ. На самом деле, нет. По-моему, слишком как взрослые. В нелучшем смысле. Дети-то ещё ничего. А взрослые... им лишь бы жить. Лишь бы жить, лишь бы жить, чики-домики. Ни риска, ни страсти, ни самопожертвования. В случае чего: «у меня семья».

МИТЯ. Очень тупо.

АНЯ. Очень одноклеточно.

МИТЯ. «Одноклеточно» — это сейчас про нас. В смысле... *(Обводит руками, показывая единство пространства.)* Одно-клеточно.

АНЯ. Пожалуйста, давай без того, что может быть похоже на флирт.

МИТЯ. Можно я поцелую?

АНЯ. Видишь, тело всегда побеждает. Как ни прискорбно. А мы всё про сложность — тщеславные дураки. Биология побеждает психологию. Социологию. Философию. Химию... метафизику. Я не знаю.

МИТЯ. Нет. Это просто благодарность.

АНЯ. А вот это уже оскорбительно!) Для женского самосознания.

МИТЯ. Я соврал. Чтобы поцеловать.

АНЯ. Давай без этого.

Всё же целует или всё же не целует.

АНЯ. Тоска последняя, если честно. И знаешь... мне теперь кажется: сердце России — тюрьма. Может, у других стран другие сердца — наверно, но концентрат России, конечно же здесь. Прямо здесь.

Митя, ты когда выйдешь, ты... ты не будешь больше с наркотиками?

МИТЯ. Аня, блин.

АНЯ. Нет, минуточку. Мне это важно.

МИТЯ. Только не вот это вот! Только не сейчас.

АНЯ. Подожди. Ну, мне правда кажется, что тебе это не надо. Что тебе это нельзя. Ты и без этого... Ну, скажи, ну, зачем?

МИТЯ. Зачем? Спрашиваешь, как человек, который не понимает саморазрушения.

АНЯ. Нет, я понимаю саморазрушение, но...

МИТЯ. Ну, видимо, я всё-таки верил, что есть какая-то воля... и какой-то всё-таки покой. По всей вероятности.

АНЯ. Как это всё-таки дико, дико, дико!

МИТЯ. Что я выйду в одну дверь, а ты в другую?

АНЯ. Можно сказать и так. Прости.

МИТЯ. Нет, наоборот, спасибо. Ну! Ну, что ты. Хочешь скажу одну вещь? Понимаешь... Всё дело в том, что здесь, в этом месте, в таких местах нет именно воли. Неслучайно же даже говорят про-то-что-за-стенами: воля. Можно поспорить с тем, что она существует, но *говорят*

так. Хотя и не связаны со словами. Так вот. Отнимая свободу поступать, перемещаться, принимать решения, ходить в душ по собственному разумению, что-то вообще выбирать, брать ответственность за себя, за других — отнимают именно волю как таковую. Забирая свободу, забирают самостоятельность личности что ли... И наоборот... Но это как будто недостаточно точно сказано. Точней всего будет сказать: «отнимая волю, отнимают волю». И обратно: «отнимая волю, отнимают волю». Что бы это ни значило. Но ты понимаешь, что это значит. При твоей любви к аналогиям можешь экстраполировать это на общество в целом...

АНЯ. Не только в тюрьме,
да не только в тюрьме,
да, не только в тюрьме.

МИТЯ. ...но я сейчас про тюрьму. Про очень конкретную, без всякой метафизики вещь. Но ты поняла, да? Этот парадокс, связанный со словами. И все, действительно, как маленькие дети в пионерлагере... Мы все.

АНЯ. Не только в тюрьме,
да не только в тюрьме.

Как странно, что я выйду, а ты останешься. Прости, что я так говорю, но я не могу не сказать. В какой-то мере/мире условности может показаться или оказаться так, что тебя (или что меня) нет, и мы — голоса одного персонажа, который выходит в какую-то дверь, но... не весь.

МИТЯ. В какой-то мере/мире условности может показаться, что твой папа убил не свою жену, а какую-то часть себя... Извини.

АНЯ. Представляешь: мне иногда это снится. Дешёвый солипсизм?

МИТЯ. Дешёвый солипсизм. Аня. У меня есть просьба. Это тупо, да: только человек сделал тебе что-то хорошее, что-то больше, чем хорошее, что-то что...

АНЯ. Пожалуйста, давай пропустим вот эту часть!

МИТЯ. Ага. ...и он становится реально близок тебе и, как следствие, ты начинаешь тут же напрягать его новым.

АНЯ. Капкан.

МИТЯ. Ну, что-то вроде. Да. Короче... Ты-сходишь-к-папе-на-кладбище?

АНЯ. Ф-ф-ф... Ну, да.

МИТЯ. Это будет очень хорошо. Мама — я не хочу чтоб ехала. Ни то что б я обижался, но... Пусть она остаётся в иллюзии, что может забыть. Так будет всем легче. Это отнимет полдня, но там даже красиво. Я расскажу как добраться. Смотри. Смотри ты едешь до метро проспект Просвещения. Там выходишь, и идешь налево и еще налево — обходишь торговый центр. Там через дорогу рынок и маршрутки останавливаются. Тебе в Парголово. Обычно самая первая которая стоит, без номера (но она первая) — это маршрутка, которая едет до северного кладбища.

Говоришь что тебе надо до кладбища.

Там при входе бабушки стоят цветы продают, если ты днем приехала, а не вечером. Но мне больше вечером нравится, особенно когда солнце. Переходишь через канаву по мостику и по дороге налево.

Идешь по ней идешь, справа старые могилы, слева новые. Такая застройка. Идешь так, чтобы постоянно новые могилы были слева от тебя. Там будет аллея с негорящими фонарями, но похоже в них что-то теплится — их постоянно дятлы долбят.

Когда видишь, что там слева такая поляна новых могил и довольно далеко впереди можно видеть конец кладбища, а слева и справа от дорожки — канавы, в которых валяются старые памятники и мусор — ты уже почти дошла.

Ты доходишь до леса, дотуда, где кажется, что оно закончилось. Упираешься в развилку, надо повернуть направо. Идешь прямо по кварталу, и ближе к концу квартала нужно будет повернуть направо и пойти вглубь и найти могилу. Там наверное придется побродить... Ты, конечно же ничего не запомнила?

АНЯ. Я всё запомнила.

МИТЯ. И... Короче... Ещё...

АНЯ. Говори.

МИТЯ. Там табличка... когда я был последний раз, она отвалилась. Я там спрятал у плиты справа, её бы приклеить. Приклеивается она эпоксидной смолой. Эпоксидной смолой — ты запомнишь? Значит, слушай как — я сейчас расскажу.

Митя рассказывает, как смешать две фракции эпоксидной смолы, чтоб приклеить табличку. Утром Аня выходит в одну, а он в другую дверь.

2018 год.